

Юрий ГЕЛЬМАН (г.Николаев Украина) **ДЯДЯ ВАНЯ**



Дядя Ваня был одинок. То есть у него совсем никого не было, кроме меня. Да и я был у дяди Вани только летом. И еще, может быть, часть сентября, пока задавали мало уроков.

Мне было тогда лет двенадцать, и у меня было все, кроме самоката. И однажды дядя Ваня купил мне самокат.

Я слышал как-то от соседки, бабы Шуры, что дядя Ваня пропивает все до копейки, и я понимал, что это плохо. Но самокат он мне все-таки купил. И когда дядя Ваня вошел во двор, держа подмышкой эту синюю, блестящую, обмотанную упаковочной бумагой игрушку, — нет, не игрушку, вещь! — я не смог сдержать своего восторга и, бросившись ему на шею, принялся целовать впалые, колючие щеки.

Я помню, как растерялась и даже испугалась мама, узнав об этом. Поначалу она не разрешала заносить самокат домой. Я плакал, наивно угрожая остаться на ночь в подъезде, но мама не верила в мои угрозы. Потом, наверное, сжалившись, вынуждена была уступить. В тот же вечер она предлагала дяде Ване деньги, но только он не взял. Вот такой был у меня дядя Ваня!

Летом или в начале сентября, когда мы со сверстниками гурьбой высыпали во двор играть в футбол, на скамейке под наполовину высохшей акацией появлялся дядя Ваня. Он будто бы с интересом следил за нашей шумной беготней, часто курил, а потом подолгу сидел, опустив голову, как будто уходил в себя. А однажды, когда все разбежались смотреть мультики, не знаю почему, но я остался во дворе один и присел рядом с дядей Ваней. И тут все началось.

Медленно, будто выдавливая из себя слова, осипшим голосом, от которого у меня по спине поначалу бегали мурашки, дядя Ваня рассказывал мне о войне. О той войне, которая закончилась уже четверть века назад, но, как видно, еще продолжалась в его душе. Наверное, я был для него чистым листом бумаги, на котором этому человеку просто необходимо было изложить свою биографию. Он никогда не интересовался, все ли я понимаю, все ли до меня доходит — просто говорил и говорил. Да и переспрашивать я боялся, будто чувствуя, что своим вопросом нечаянно могу разрушить хрупкую, зыбкую от волнения связь между его словами.

С первого же дня он завладел моим умом и вниманием, чего вскоре, предупрежденная бдительными соседями, стала так опасаться моя мама. Еще бы, у меня приближался переходный возраст, а я целыми днями болтался в компании с известным пьяницей. Но мама была на работе, и помешать нашим встречам не могла.

Пацаны смеялись надо мной, дразнили, но в футбол с ними я играть перестал, а вместо этого почти каждый день слушал рассказы дяди Вани. И я сидел рядом с ним, уже давно не пугаясь его хриплого, простуженного голоса, сидел, боясь пошевелиться, и почему-то безгранично верил этому человеку. Дядиванина война — не книжная, не киношная — проникала в меня неимоверно глубоким внутренним своим содержанием и, как осколок, просвистевший через время, навсегда оставалась в моей душе.

Может быть, рассказы дяди Вани чрезмерно перегружали меня, опережающе действовали на мою восприимчивую психику (от кого-то из взрослых я услышал это тяжеловесное умозаключение), но так или иначе они представляли уже неотъемлемую часть моего отрочества и, наверное, навсегда заронили в мое сердце зерна, давшие

всходы много лет позднее.

Во мне происходили тогда странные превращения, что-то смещалось и переворачивалось, что-то уходило на второй план, уступая место новым — более сложным — оценкам и ощущениям. Я не всегда замечал в себе эти перемены и, конечно, не понимал, что просто-напросто взрослею.

* * *

... Серые громады бараков. Однообразный полосато-голодный строй. Казалось, эти люди жаждут смерти, смерти — как избавления от мук.

Какой многократный запас прочности заложен в каждом человеке! Не физической — духовной. Ибо когда отказывается служить тело — ум несгибаемо продолжает свою работу, возносится порой на невиданные высоты. И все же наступает предел, когда этот ум, противореча своим естественным началам, способен возжелать гибели...

А за колючей проволокой — вопреки всему — была весна. Теплый, душистый пар отрывался от земли, но там, высоко в небе, угнетая это извечное дыхание природы, расстился от края до края едкий дым боев, и черный маслянистый дым крематориев.

В середине апреля в лагерь прибыл новый комендант. Он был строен и моложав, обладал спортивной фигурой, имел удивительно не соответствующее черной форме доброе лицо, и казалось, на эту службу попал случайно. По утрам в одних трусах он выходил на зарядку, бегал вдоль заграждений, обливался холодной водой. Изможденные, готовые ко всему узники, наблюдая за ним, способны были еще

удивляться его причудам. Что говорить — Европа!

Новый комендант неплохо изъяснялся по-русски, даже знал несколько поговорок и пословиц. Пружинисто расхаживая перед строем, поблескивая тонким золотом очковой оправы, он любил рассуждать об искусстве, о политике и спорте. Будто подчеркивая свое превосходство. Будто красиво унижая серую массу славянских “недочеловеков”. Он никогда не ругался, не повышал голос и никого не бил. Напротив, почти всегда улыбался и даже иногда, похлопывая кого-то по плечу мускулистой рукой, говорил: “Кароши рус, кароши. Толко глупи”.

А однажды он придумал забаву. Видно, совсем заскучал интеллигент в этом дерьме. Построив узников на плацу, он объявил, что собирается устроить игру в ручной мяч между двумя командами, которые отберет сам. Условия были такие: победителей отпускают на волю, а проигравших...

Да-да, никто не ослышался, он так и сказал! Строй окаменел. Перестали кашлять даже больные в задних рядах.

Комендант медленно шел вдоль строя, время от времени тыкая пальцем кому-то в грудь, и те, кого он отбирал, опустив головы, деревянными шагами выходили вперед. В воздухе, как будто совсем близко, задевая раненым крылом, витала призрачная надежда на спасение. Но все равно те, кто оставался в строю, вздыхали с облегчением.

Что такое “ручной мяч” мало кто знал. Не культивировался он тогда еще в нашей стране, вот что.

В этом месте дядя Ваня остановился и надолго замолчал. Я видел, как под пупырчатой гусиной кожей прыгает его острый кадык. Потом дядя Ваня закурил.

— А знаешь, кем я играл? — булькая горлом, наконец, спросил он.

— Вратарем! — выпалил я, не задумываясь, а дядя Ваня, как-то болезненно поморщившись, вдруг обнял меня и, как будто крадучись, поцеловал в голову.

Потом, позднее, но именно в этот день, он купил мне самокат.

* * *

Да, он стоял в воротах. А соперники по этой дикой, нелепой игре — ребята с Волги или Урала, с которыми он каждый день ел из одной миски, — они, по-звериному сверкая глазами и надувая жилы, из последних сил рвались навстречу. Падали, разбивая руки и лица, дрались между собой и снова бежали вперед, чтобы пробить брешь в распластавшемся, как тельняшка на белье, веревке, теле вратаря. Настоящего мяча не было. Играли кирпичом...

Комендант судил объективно. Какая ему была разница, кого пускать в расход? Он просто наслаждался придуманным зрелищем, когда эти русские звери, не зная никаких правил и уже, по сути, не испытывая жалости друг к другу, давили и топтали соперников. Для него, молодого эсесовца в позолоченных очках, это была коррида, это был гладиаторский бой. Он самодовольно улыбался, а порой даже аплодировал, и совсем не замечал, как монолитный, сплоченный строй “зрителей” беззвучно и бесслезно — одними сердцами — плачет...

Потом они стояли друг против друга, шестеро победителей и шестеро проигравших, смотрели в глаза и... прощались... И еще неизвестно было, кто из них на самом деле выиграл.

На лагерном грузовике с камуфляжными разводами по бортам трое охранников вывезли узников в лес. Это был уже по-настоящему весенний, живой лес. Он стоял, набухая почками, наливаясь соками больной земли, и даже не подозревал о том, что его помощь может понадобиться людям.

Дико хохоча и ругаясь, охранники столкнули узников с кузова. Те сгруппировались в кучку, все еще не веря в собственное освобождение. Вот сейчас прострекочет очередь из “шмайсера” — и все закончится. И немцы действительно стали стрелять. Но поверх голов — так, в шутку, как им приказали. Они, в общем-то, были веселыми парнями. Они ни на кого не держали зла. Они никого не хотели убивать. А еще через минуту, когда за деревьями скрылись очертания грузовика, все стихло.

Пьянея от привалившей удачи, эти шестеро бросились подальше от лесной дороги, в чащу, где, как им казалось, таилось окончательное спасение. И лес, удивленно слушая приглушенные, но счастливые голоса, принял их. Ведь это был польский лес, и он тоже, как видно, участвовал в этой войне.

Они кружили по голым, пустым зарослям как загнанные волки, и свобода, чудом обретенная ими, уже как будто начинала тяготить. Расчет коменданта, подарившего жизнь шестерым пленным, был как все немецкое точен и верен: к исходу вторых суток беглецов уже стало меньше. Не выдержав лихорадочного темпа движения, двое нашли вечный приют под кучей валежника у звенящего ручья. Так закончился для них плен, так закончилась для них война.

Ночью в овраге четверо держали совет. Потом разделились на пары, запомнили фамилии друг друга, чтобы хоть кто-нибудь, оставшийся в живых, мог рассказать об остальных правду.

С напарником Ивану не повезло. Они не тянули жребий, кому с кем идти. Просто этот щупленький белоголовый мальчик из Подмосковья со странной фамилией Плохой тянулся к нему, как к отцу, хотя Иван был старше всего-то на четыре года. И они пошли на восток, передвигаясь ночами, а днем отлеживаясь в лощинах или в кустарнике. Очень скоро Иван уже тащил Плохого на себе. Изможденное, высохшее тело юноши безвольно висело у него за спиной. И только мертвенно-холодные губы еле слышно шептали Ивану в ухо: “Отдохни, Ванечка, отдохни...”

Но он упрямо шел, не слушая Плохого, не замечая его стонов. И только когда липкий туман застлал глаза, когда голова закружилась и как будто отделилась от тела, — Иван понял, что ему не дойти. Лицо и грудь горели огнем, ноги и руки стали ватными и не хотели двигаться, едкий кашель до крови раздирал горло. С каждой минутой, с каждым шагом Ивану становилось все хуже и хуже.

Последнее, что он запомнил сквозь наплывающий бред, — то, как беззвучно умер Плохой. После этого он сам провалился в какую-то горячую бездну. Сознание проблесками возвращалось к нему, но он бессилён был задержать его даже на минуту. И только глаза Плохого, распахнутые как окна, то приближались, увеличиваясь, то удалялись от него.

* * *

Первое, что он увидел, придя в себя, был грустный, неподвижный солнечный зайчик, сидящий на бревенчатом потолке. Душисто пахло сушеной травой и мирным, не опаленным войной жильем.

Иван долго собирал мысли, разметанные обрывки памяти, но никак не мог сообразить, где же все-таки находится. И тут он услышал тихий девичий голос:

— Ойчец, російски обудзилсе.

Иван с трудом повернул тяжелую голову и увидел, что рядом с ним, на лавке, сидит

тоненькая как виноградная лоза голубоглазая девочка. Она смотрела на него ласковым, но каким-то усталым, настороженным взглядом. С трудом раздвигая спекшиеся губы, Иван попытался улыбнуться ей. “Живой, живой!” — мелькнуло у него в голове.

За спиной девочки появился седой старик, по-крестьянски одетый и с трубкой в руке. От табачного дыма у Ивана снова закружилась голова — но как-то совсем по-другому, чем раньше, по-мирному. И он лежал, закрыв глаза и продолжая улыбаться.

— Ева, пройди на двор, погляди кругом, — сказал старик по-польски.

— Где я? — слабым голосом спросил Иван, еле шевеля губами.

— Цо пан мове?

— Где я?

Хозяин понял вопрос и оживился.

— О, певнье! — сказал он. — Бардзо добре мьесто.

— Это ваш дом?

— Так-так, мой дом. Немцы нет, далеко.

От этих слов Иван как будто успокоился и повеселел. Ему подумалось, что в раздавленной войной Польше каким-то чудом отыскалось место для его спасения.

— Долго я у вас? — спросил он.

— О, пан бардзо хворы, — ответил хозяин. — Мы, как это по-русски, бояться, что пан умьера. Одзиежда вшистка повьедзала.

Иван задумался, уткнувшись глазами в потолок.

— Сколько же дней я у вас? — спросил он после паузы.

— Тшетий дзень.

— А где фронт?

— О, пану рано фронт!

— Сколько до фронта? — настойчиво повторил Иван.

— Еще далеко, — ответил хозяин с уверенностью. — Еднак зыбко червьенна армия пржыйде ту! Пан зачекает червьенна армия? Так?

Собрав все силы, Иван попытался сесть, но снова уронил голову на подушку. Вошла Ева. Она положила свою узкую ладошку Ивану на лоб, потом погладила его жесткие, слипшиеся волосы, присела на лавку.

Девушке на вид было не больше семнадцати, но худенькая и болезненно бледная, выглядела она совсем как подросток. И вдруг Иван почувствовал дикий стыд. Ему живо представилось, как эта польская девочка помогала отцу раздевать его, мыть, натягивать крестьянские штаны. Под небритыми колючками щетины появился теплый румянец и, мельком взглянув на свою спасительницу, Иван отвернулся.

— Як цебье зовут? — спросила она, улыбаясь.

Он назвал себя, потом, после паузы, встретился с ней глазами.

— А ты — Ева?

— Так, — девушка суетливо заерзала, сложив ладони в замок. — Тшеба покушать, поньеваж пан зовсем ослаб.

Она помогла ему сесть, и когда муторное головокружение, наконец, оставило Ивана, он огляделся. Стол с крестообразными ногами, голубые в горошек занавесочки на двух окошках, да распятие на ослепительно белой стене. Ни соринки вокруг, даже пол вымыт недавно.

— Ева, дай зеркало, — попросил вдруг Иван.

— Цо, Янек?

— Зеркало...

— А, люстерко! — воскликнула девушка. — Розумьем, зачекай.

Ее сдуло с места, и уже через несколько секунд Ева дрожащей рукой протягивала Ивану осколок стекла.

“Господи! Неужели это я? И всего-то за четыре месяца! — мелькнуло в голове у Ивана. — А вдруг я уже навсегда останусь таким?”

* * *

Ивану пришлось оставаться в этом доме около трех недель. Пан Кавецкий, отец Евы, сперва показавшийся стариком, на самом деле был довольно крепким мужчиной, недавно за пятьдесят лет. Он поил Ивана отварами трав, каких-то кореньев, и довольно быстро восстановил в нем силы. Ева же и вовсе привязалась к случайному “постояльцу” как к родному. По вечерам она подсаживалась к Ивану, подолгу расспрашивала о России, с удивлением узнавая, что у Ивана до войны даже не было любимой девушки.

Что-то лукавое искрилось в глазах Евы, и она с трогательным кокетством отворачивалась от него, полушепотом приговаривая какие-то слова, не требующие перевода. А он лежал на соломенном тюфяке, закрыв глаза, и голос Евы своей недетской грудной глубиной напоминал ему голос матери, оставшейся в оккупации.

Фронт приближался. И теперь по ночам было слышно, как по дороге, обходящей глубокий овраг и неприметный хутор лесника, надсадно ревя моторами, откатывалась немецкая техника. Иван перебрался на сеновал, под крышу ветхого сарая, где спалось душно, но все более тревожно. Уже где-то совсем рядом гремела канонада, и знобящее ожидание скорой встречи со своими переполняло бойца. Да, он чувствовал себя бойцом, он верил, что снова возьмет в руки автомат и рассчитается с врагом за все

унижения, через которые ему довелось пройти — за смерть Плохого, за Чуркина и Мамонтова, которые, может быть, не дошли... И даже за удивительную девушку Еву, застрявшую в своем отрочестве посреди высеченного войной леса.

В одну из ночей от грохота и содрогания земли Иван не сомкнул глаз. Наверное, подумал он, мимо шли танки. А когда первые солнечные лучи лизнули соломенную крышу сарая, — все стихло, и Иван как будто почувствовал, что ему легче задышалось. И вдруг он услышал голос Евы.

— Пан офицер, панове, там у нас есть русский солдат!

Прижавшись лбом к стенке, Иван увидел в щель, как девушка, возбужденно жестикулируя, вела через двор советского капитана.

“Наши, наши!” — мелькнуло в голове у Ивана.

— Точно русский? — спросил капитан приглушенным голосом и остановился возле сарая. — Эй, Сидоров, а ну-ка посмотри!

Расторопный пухленький сержант с солевыми разводами на вылинявшей гимнастерке распахнул дверь, чуть было не сорвав ее с единственной петли. Направив в темноту ствол автомата, он крикнул:

— А ну выходь! Только без глупостей!

Иван спустился на землю и шагнул навстречу Сидорову, но, наткнувшись животом на ствол, остановился.

— Братцы, родные мои! — дрожащим голосом сказал он. — Наконец-то!

И впервые за долгие месяцы настоящие слезы повисли на его ресницах.

Подошел капитан.

— Кто такой? — сипло спросил он, подобрав синеватые мешки под глазами в коварный прищур.

Иван, размазав слезы по щекам, назвал себя и часть, в которой служил.

— Нет такой части в Советской Армии, — холодно сказал капитан, выдержав паузу.

От этих слов у Ивана подкосились ноги, и даже слюна превратилась в колючий комок, который он не смог проглотить.

— Пошли в дом, поговорим, — сказал капитан.

В комнате он по-хозяйски сел к столу, а Иван остался стоять перед ним, пытаясь держать руки “по швам”. Прислоняясь к стене под распятием и держа автомат одной рукой за цевье, Сидоров старался придать лицу насмешливое выражение.

— А ты, девочка, выйди пока, — махнул рукой капитан, когда Ева проскользнула в комнату и встала за спиной у Ивана.

Тот обернулся, печально повел глазами в сторону двери.

— Ишь, ты, мать честная! — прокомментировал Сидоров.

Ева нехотя вышла, пятась назад и не сводя глаз с жалкой фигуры Ивана.

— Ну, рассказывай, — вкрадчиво сказал капитан, укладывая левую руку на стол, а правой поглаживая кобуру пистолета.

Иван рассказал все по порядку, как помнил. И про то, как попал в плен. И про то, как от плена освободился. Капитан слушал внимательно, не перебивая.

— Так говоришь, в ручной мяч играли? — спросил он, улыбаясь и переглядываясь с Сидоровым.

Когда Иван в сопровождении сержанта вышел из дома и направился через подворье к трофейной мотоколяске, бывшей, должно быть, гордостью капитана, Ева бросилась было к нему навстречу. Но отец строго окликнул ее, и девушка остановилась.

— Янек! — вскрикнула она, прижимая ладони к губам.

— Прощай, Ева, — тихо сказал Иван, оглянувшись. — Спасибо тебе за все...

Позднее на запрос в часть, которую назвал Иван, пришла бумага. В ней сообщалось, что рядовой Трефилов Иван, тысяча девятьсот двадцать первого года рождения, погиб двенадцатого декабря и похоронен в братской могиле там-то и там-то.

— Неправда, живой я! — кричал Иван. — Это ошибка! Живой я!

Ему не давали кричать и возмущаться, и очень быстро Иван понял, что против судьбы не попрешь.

Потом в штрафном батальоне он дошел почти до Берлина. Где-то под Эберсвальде или другим городишком его тяжело ранило, и полгода он скитался по госпиталям.

* * *

— Ты знаешь, малыш, — говорил мне дядя Ваня, — я ведь после войны так и не женился. Не мог я после всего: что-то разладилось во мне, да еще и ранение... А теперь и вовсе опротивело все, осточертело!

Он больше не рассказывал ни о чем. Я не знаю, где и кем он работал, как жил. Он был для меня “дядей Ваней” из нашего дома — человеком, открывшим мне свою душу.

Потом прошло несколько лет, и дядя Ваня стал для меня просто воспоминанием. Иногда я видел его на нашей скамье, только рядом никого не было.

Подросли другие мальчишки и тоже играли во дворе в футбол, а самокаты вышли из моды... Даже я проходил мимо, отворачиваясь. А старик бросал на меня какой-то

стыдливый взгляд, и я постоянно чувствовал его спиной.

А однажды, девятого мая, я впервые увидел дядю Ваню при наградах. Три медали висели гордо и аккуратно. Мне тогда подумалось, что он всю ночь накануне праздника старательно прикреплял эти медали к своему поношенному пиджаку с грубой латкой на правом локте.

Вечером, возвращаясь от друзей, я вошел в свой подъезд и оторопел: на ступенях грязный и пьяный сидел дядя Ваня. Искалывая в кровь непослушные пальцы, он сдирал с пиджака медали, подносил их к мутным глазам и бормотал что-то невнятное.

Увидев меня, дядя Ваня болезненно поморщился и нетвердо протянул руку. Сам не знаю почему, но я проскочил мимо пьяного к себе домой, захлопнул дверь и долго стоял в прихожей, не снимая обуви.

А еще через месяц дядя Ваня умер. И акация над скамьей во дворе почему-то не зацвела. Общественные похороны были скудными и бесслезными. В его квартиру быстро вселились другие люди, сделали ремонт, и жизнь потекла своим чередом.

Наверное, дядю Ваню уже многие забыли, ведь сколько лет прошло. А меня до сих пор терзает чувство вины перед ним, как будто протягивая руку в подъезде, я смог бы что-то изменить в его жизни.

Вот почему, пытаюсь хоть как-то сгладить свою вину, я и решился рассказать об этой истории, ибо память о человеке непростой судьбы не может оставаться только моей...

